

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Coe)-44
П41

Edgar Allan Poe

Перевод с английского

Оформление серии *О.Горбовской*

По, Эдгар Аллан.

П41 Полное собрание рассказов в одном томе : [перевод с английского] / Эдгар Аллан По. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 864 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-699-52717-5

Влияние на мировую литературу Эдгара По — американского поэта, прозаика, журналиста и критика — очень велико. Он по праву считается родоначальником нового для своего времени литературного жанра — детективных рассказов. Магией его стихов было очаровано не одно поколение поэтов. Он был человеком блестящего таланта и горестной судьбы, которая наложила отпечаток на его творчество. Таинственные истории, в которых трудно провести грань между реальностью и вымыслом, зыбкое пограничное состояние души, когда ужас подавляет все остальные чувства, завораживают и заставляют поверить в необъяснимое.

Все рассказы писателя собраны в одном томе.

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Coe)-44

© Александрова З., Беккер М., Богословская М.,
Галь Н., Гальперина Р., Гурова И., Маркиш С.,
Облонская Р., Старцев А., Урнов М., Хинкис В.,
Широков Ф., Холмская О., Бернштейн И.,
перевод на русский язык. Наследники, 2016
© Демурова Н., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

ISBN 978-5-699-52717-5

Метценгерштейн

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero¹.

Martin Luther

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seule»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проныцательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (*лат.*).

Мартин Лютер.

² Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

³ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекло что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок недолгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолеп-

ным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз.

Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы рассвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот так! — промолвил барон, словно бы не вдруг осwoясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот так, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?», «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каж-

дым новым проявлением свирепой, демонической природы этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвра-

щался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи празднично стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение, и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

Без дыхания

(Рассказ не для журнала «Блэквуд» и отнюдь не из него)

О, не дыши...

Мур. «Мелодии»

Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростью духа, какую вселяет в нас философия, — подобно тому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар (судя по Священному Писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала. Сарданапал (см. у Диодора) целых семь лет держался в Ниневии, но — увы — все было тщетно. Силы Трои истощились через десять лет, а город Азот — Аристей в этом ручается словом джентльмена — тоже в конце концов открыл Псамметиху свои ворота, которые держал на запоре в течение пятой части столетия.

— Ах ты гадина! ах ты ведьма! ах ты мегера, — сказал я жене наутро после свадьбы, — ах ты чертова кукла, ах ты подлая, гнусная тварь, красноречивее исчадие мерзости, ах ты, ах ты... — В тот самый миг, когда я встал на цыпочки, схватил жену за горло и, приблизив губы к ее уху, собрался было наградить ее каким-нибудь еще более оскорбительным эпитетом, который, будучи произнесен достаточно громко, должен был окончательно доказать ее полнейшее ничтожество, — в тот самый миг, к своему величайшему ужасу и изумлению, я вдруг обнаружил, что у меня захватило дух.

Выражения «захватило дух», «перехватило дыхание» и т. п. довольно часто употребляются в повседневном обиходе, но я, *bona fide*¹, никогда не думал, что ужасный случай, о котором я говорю, мог бы произойти в действительности. Вообразите — разумеется, если вы обладаете фантазией, — вообразите мое изумление, мой ужас, мое отчаяние!

Однако мой добрый гений еще ни разу не покидал меня окончательно. Даже в тех случаях, когда я от ярости едва в состоянии владеть собой, я все же сохраняю некоторое чувство собственного достоинства, *et le chemin des passions me conduit* (как лорда Эдуарда в «Новой Элоизе») *à la philosophie véritable*².

Хотя мне в первую минуту не удалось с точностью установить размеры постигшего меня несчастья, тем не менее я решил во что бы то ни стало скрыть все от жены, — по крайней мере, до тех пор, пока не получу возможность определить объем столь неслыханной катастрофы. Итак, мгновенно придав моей искаженной бешенством физиономии кокетливое выражение добродушного лукавства, я потрепал свою супругу по одной щечке, чмокнул в другую и, не произнеся ни звука (о фурии! ведь я не мог), оставил ее одну дивиться моему чудачеству, а сам легким па-де-зефир выпорхнул из комнаты.

И вот я, являющий собой ужасный пример того, к чему приводит человека раздражительность, благополучно укрылся в своем кабинете — живой, но со всеми свойствами мертвеца, мертвый, но со всеми наклонностями живых, — нечто противоестественное в мире людей, — очень спокойный, но лишенный дыхания.

Да, лишенный дыхания! Я совершенно серьезно утверждаю, что полностью утратил дыхание. Его не хватило бы и на то, чтобы сдуть пушинку или затуманить гладкую поверхность зеркала, — даже если бы от этого зависело спасение моей жизни. О, злая судьба! Однако даже в этом первом приступе всепоглощающего отчаяния я все же обрел некоторое утешение. Тщательная проверка убедила меня в том, что я не окончательно лишился дара речи, как мне показалось вначале, когда я не смог продолжать свою интересную беседу с женой. Речь у меня была нарушена лишь частично, и я обнаружил, что, стоило мне в ту критическую минуту понизить голос и перейти на

¹ По чистой совести (*лат.*).

² И дорога страстей ведет меня к истинной философии (*фр.*).

гортанные звуки, я мог бы и дальше изливать свои чувства. Ведь частота вибрации звука (в данном случае гортанного) зависит, как я сообразил, не от потока воздуха, а от определенных спазматических движений, производимых мышцами гортани.

Я упал в кресло и некоторое время предавался размышлениям. Думы мои были, разумеется, весьма малоутешительны. Сотни смутных, печальных фантазий теснились в моем мозгу, и на мгновение у меня даже мелькнула мысль, не покончить ли с собой; но такова уж извращенность человеческой природы — она предпочитает отдаленное и неясное близкому и определенному. Итак, я содрогнулся при мысли о самоубийстве как о самом гнусном злодеянии, одновременно прислушиваясь к тому, как полосатая кошка громко мурлычет на коврике у камина и даже сеттер старательно выводит носом рулады, растянувшись под столом. Оба словно нарочно похвалялись силою своих легких, насмехаясь над бессилием моих.

Терзаемый то страхом, то надеждой, я наконец услышал шаги жены, спускавшейся по лестнице. Когда я убедился, что она ушла, я с замиранием сердца вернулся на место катастрофы.

Тщательно заперев дверь изнутри, я предпринял энергичные поиски. Быть может, думал я, то, что я ищу, скрывается где-нибудь в темном углу, в чулане или притаилось на дне какого-нибудь ящика. Может быть, оно имеет газообразную или даже осязаемую форму. Большинство философов до сих пор придерживаются весьма нефилософских воззрений на многие вопросы философии. Однако Вильям Годвин в своем «Мандевиле» говорит, что «невидимое есть единственная реальность»; а всякий согласится, что именно об этом и идет речь в моем случае. Я бы хотел, чтобы здравомыслящий читатель хорошенько подумал, прежде чем называть подобные заявления пределом абсурда. Ведь Анаксагор, как известно, утверждал, что снег черный, и я не раз имел случай в этом убедиться.

Долго и сосредоточенно продолжал я свои поиски, но жалкой наградой за мои труды и упорство были всего лишь одна фальшивая челюсть, два турнюра, вставной глаз да несколько *billets-doux*¹, адресованных моей жене мистером Вовесьдух. Кстати, надо сказать, что это доказательство благосклонности моей супруги к мистеру В. не причинило мне особого беспокойства. То, что миссис Духвон питает

¹ любовных записочек (*фр.*).

нежные чувства к существу, столь непохожему на меня, — вполне законное и неизбежное зло. Всем известно, что я отличаюсь крепким и плотным телосложением, хотя в то же время несколько приземист. Что же удивительного, если миссис Духвон предпочла моего тощего, как жердь, приятеля, непомерно высокий рост которого вошел в поговорку. Но вернемся к моему рассказу.

Как я уже заметил, мои усилия оказались напрасными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком, чулан за чуланом — все подверглось тщательному осмотру, но все втуне. Была, правда, минута, когда мне показалось, что труды мои увенчались успехом, — роясь в одном несесере, я нечаянно разбил флакон гранжановского «Елея архангелов» (беру на себя смелость рекомендовать его как весьма приятные духи).

С тяжелым сердцем воротился я в свой кабинет, чтобы измыслить какой-нибудь способ обмануть проницательность жены хотя бы на то время, пока я успею подготовить все необходимое для отъезда, где меня никто не знает, мне, быть может, удастся скрыть свою ужасную беду, способную даже в большей степени, чем нищета, отвратить симпатии толпы и навлечь на злосчастную жертву вполне заслуженное негодование людей добродетельных и благополучных. Я колебался недолго. Обладая от природы прекрасной памятью, я целиком выучил наизусть трагедию «Метамора». К счастью, я вспомнил, что при исполнении этой пьесы (или, во всяком случае, той ее части, которая составляет роль героя) нет никакой надобности в оттенках голоса, коих я был лишен, и что всю ее следует декламировать монотонно, причем должны преобладать низкие гортанные звуки.

Некоторое время я практиковался на краю одного болота, где было отнюдь не безлюдно, и поэтому мои упражнения не имели, по существу, ничего общего с аналогичными действиями Демосфена, а, напротив, основывались на моем собственном, специально разработанном методе. Чувствуя себя теперь во всеоружии, я решил внушить жене, будто мною внезапно овладела страсть к драматическому искусству. Это мне удалось как нельзя лучше, и в ответ на всякий вопрос или замечание я мог своим замогильным лягушачьим голосом с легкостью продекламировать какой-нибудь отрывок из упомянутой трагедии, — любыми строчками из нее, как я вскоре с удовольствием убедился, можно было пользоваться при разговоре на любую тему. Не следует, однако, полагать, что, исполняя подобные отрывки, я обходился без косых взглядов, шарканья ногами, зубовного скрежета,

дрожи в коленях или иных невыразимо изящных телодвижений, которые ныне по справедливости считаются непременным атрибутом заправского актера. Поговаривали даже о том, не надеть ли на меня смирительную рубашку, но — хвала господу! — никто не заподозрил, что я лишился дыхания.

Наконец я привел свои дела в порядок и однажды на рассвете сел в почтовый дилижанс, направляющийся в N., распространив среди знакомых слух, будто дело чрезвычайной важности срочно требует моего личного присутствия в этом городе.

Дилижанс был битком набит, но в неясном свете раннего утра невозможно было разглядеть моих спутников. Я позволил втиснуть себя между двумя джентльменами грандиозных размеров, не оказав сколько-нибудь энергичного сопротивления, а третий джентльмен, еще большей величины, предварительно попросив извинения за вольность, во всю длину растянулся на мне и, мгновенно погружившись в сон, заглушил мои гортанные крики о помощи таким храпом, который посрамил бы и рев Фаларидова быка. К счастью, состояние моих дыхательных способностей совершенно исключало возможность такой напасти, как удушье.

Когда мы приблизились к окраине города, уже совсем рассвело, и мой мучитель, пробудившись ото сна и пристегнув свой воротничок, весьма учтиво поблагодарил меня за любезность. Но, увидев, что я остаюсь недвижим (все мои суставы были как бы вывихнуты, а голова свернута набок), он встревожился и, растолкав остальных пассажиров, в весьма решительной форме высказал мнение, что ночью под видом находившегося в полном здравии и рассудке пассажира им подсунули труп; при этом, желая доказать справедливость своего предположения, он изо всех сил ткнул меня большим пальцем в правый глаз.

Вслед за этим каждый пассажир (а их было девять) счел своим долгом подергать меня за ухо. А когда молодой врач поднес к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я бездыханен, обвинение моего мучителя было единогласно подтверждено, и вся компания выразила твердую решимость не только в дальнейшем не мириться с таким надувательством, но и в настоящее время не ехать ни шагу дальше с такой падалью.

В соответствии с этим меня вышвырнули из дилижанса перед таверной «Ворона» (мимо которой мы как раз проезжали), причем со

мною не произошло больше никаких неприятностей, если не считать перелома обеих рук, попавших под левое заднее колесо. Кроме того, следует воздать должное кучеру — он не преминул выбросить вслед за мною самый объемистый из моих сундуков, который, по несчастью, свалившись мне на голову, раскроил мне череп весьма любопытным и в то же время необыкновенным образом.

Хозяин «Вороны», человек весьма гостеприимный, убедившись, что содержимого моего сундука вполне достаточно, дабы вознаградить его за некоторую возню со мной, тут же послал за знакомым хирургом и передал меня в руки последнего вместе со счетом и распиской в получении десяти долларов.

Совершив сию покупку, хирург отвез меня к себе на квартиру и немедленно приступил к соответствующим операциям. Однако, отрезав мне уши, он обнаружил в моем теле признаки жизни. Тогда он позвонил и послал слугу за соседом-аптекарем, чтобы посоветоваться, как поступить в столь критических обстоятельствах. На тот случай, если его подозрения, что я еще жив, в конце концов подтвердятся, он пока что сделал надрез на моем животе и вынул оттуда часть внутренностей для более детального анатомирования.

Аптекарь выразил мнение, что я и в самом деле мертв. Это мнение я попытался опровергнуть, изо всех сил брыкаясь и корчась в жестоких конвульсиях, ибо операции хирурга в известной мере вновь пробудили мои жизненные силы. Однако все это было приписано действию новой гальванической батареи, при помощи которой аптекарь — человек действительно весьма сведущий — произвел несколько любопытнейших опытов, каковые, ввиду моего непосредственного в них участия, не могли не вызвать во мне живейшего интереса. Тем не менее я был весьма обескуражен тем, что хотя я и сделал несколько попыток вступить в разговор, но до такой степени не владел даром речи, что не мог даже открыть рот, а тем более возражать против некоторых остроумных, но фантастических теорий — при иных обстоятельствах благодаря близкому знакомству с гиппократовой патологией я мог бы их с легкостью опровергнуть.

Не будучи в состоянии прийти к какому-либо заключению, искусные медики решили оставить меня для дальнейших исследований и отнесли на чердак. Жена хирурга одолжила мне панталоны и чулки, а сам хирург связал мне руки, подвязал носовым платком мою че-